

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

# ЛЕСКОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



КЛАССИКА РУССКОЙ  
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

---

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«НИКЕЯ»

**Николай Семёнович Лесков**  
**Повести и рассказы**  
Серия «Классика  
русской духовной прозы»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=11311023](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11311023)*

*Повести и рассказы/ Сост. Ю. Шугарова: Никея; Москва; 2014*

*ISBN 978-5-91761-354-3*

### **Аннотация**

В сборник Н. С. Лескова (1831–1895) – самобытного писателя и создателя уникального сказового стиля – вошли повести и рассказы, герои которых составляют своеобразную «галерею» русских праведников. Обращаясь к жанру святочного рассказа («Жемчужное ожерелье», «Неразменный рубль» и др.) или к истории первых веков христианства («Лев старца Герасима»), автор ведет своих персонажей по пути истинной любви. По словам героя повести «Запечатленный ангел»: «Ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его». Произведения Лескова раскрывают перед читателем, как преодолевая тяжелые испытания, люди обретают подлинный смысл жизни.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие                       | 5  |
| Запечатленный ангел               | 10 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 54 |

# Николай Семенович Лесков

## Повести и рассказы

*Рекомендовано к публикации Издательским  
советом Русской Православной Церкви ИС  
Р14-409-0938*

Текст печатается по изданию:

*Лесков Н. С. Собр. соч.: В 6 т. Москва: Правда, 1973.*

# Предисловие

Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в Орловской губернии. «Род наш, собственно, происходит из духовенства.... Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед – все были священниками в селе Лесках. От этого села Лески и вышла наша родовая фамилия – Лесковы».

Однако отец писателя, Семен Дмитриевич, окончив семинарию, решил не продолжать семейную традицию, за что дед выгнал его из дома (черты деда проявятся в главном герое романа «Соборяне», протоиерее Савелии Туберозове). Выбрав карьеру судебного служащего, Семен Дмитриевич всю жизнь оставался человеком честным, бескорыстным, на службе отличался «твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов», и дослужился до чина коллежского асессора, дававшего право на потомственное дворянство.

Лесков отмечал в своей автобиографии: «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, – она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах

жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия... Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовывать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным.»

О своей первой встрече с большой литературой он вспоминал так: «В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством».

Николай Семенович сначала пошел по стопам отца – в 16 лет он поступил на работу в орловскую судебную палату. Еще через два года его перевели в Киев, где он посещал вольнослушателем лекции в университете, изучал польский язык, участвовал в религиозно-философском студенческом кружке и даже увлекся иконописью. Уволившись со службы, Лесков начал работать в компании мужа своей тети, А. Я. Шкотта (Скотта), «Шкотт и Вилькенс». По служебным делам ему приходилось много ездить по Российской Империи.

Позже он напишет: «Думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе...»

После того как компания закрылась, Лесков переехал в Петербург. Там и началась его писательская карьера. В 1863 году выходят его первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык». Вскоре за ними последовали «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница». Уже в этих ранних произведениях проявился уникальный сказовый стиль писателя. Наиболее выразительное воплощение лесковской «сказ» получил в рассказе «Запечатленный ангел», где слышатся отзвуки древнерусских «хождений» и сказаний о чудотворных иконах.

Ко времени создания романа «Соборяне» (1872 г.), по словам Максима Горького, «литературное творчество Лескова становится яркой живописью или, скорее, иконописью». Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем под общим названием «Праведники» («Фигура», «Человек на часах», «Несмертельный Голован» и др.) Как отмечали впоследствии критики, лесковских праведников объединяют «прямодушие, бесстрашие, обостренная совесть, неспособность примириться со злом».

Согласно воспоминаниям сына писателя, Андрея Николаевича Лескова, Николай Семенович считал, что, создавая

циклы о «русских антиках», исполняет гоголевское завещание из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика». В предисловии к первому из этих рассказов, «Однодум», писатель так объяснил их появление: «Ужасно и несносно... видеть одну „дрянь“ в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы, и. пошел я искать праведных.»

В этом «поиске праведных» Николай Семенович неоднократно обращался и к сюжетам из «Пролога». «Пролог» – название сборника христианских притч, пришедшего к нам из Византии и дополненного новыми сюжетами во времена Древней Руси. Писатель изложил многие истории из «Пролога» литературным языком XIX века, а кроме того, и сам создал множество сюжетов, которые по праву можно назвать «Современным Прологом». Каждое из этих произведений раскрывает перед читателем, как Господь Своим Промыслом, порой через тяжелые испытания, приводит людей к спасению и пониманию евангельской истины.

В последние годы жизни Николай Семенович стал близким другом Льва Николаевича Толстого, что отразилось и на его творчестве, и на отношении к Православной Церкви. Однако, в отличие от Толстого, Лесков до конца жизни остался православным христианином.

Умер Николай Семенович Лесков 5 марта 1895 года от приступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

*Евгений Юферев*

# Запечатленный ангел

## 1

Дело было о Святках, накануне Васильева вечера <sup>1</sup>.

Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоянный двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чувашаи. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу – везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

---

<sup>1</sup> День памяти святого Василия Великого – 14 января (1 января по ст. ст.).

– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом<sup>2</sup> и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

– Мы, – ответили глухо из-за окна.

– Ну-у, а чего еще надо?

– Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

– А много ли вас?

– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

– Пусти хоть малость обогреться!

– А кто же вы такие?

– Извозчики.

– Порожнем или с возами?

– С возами, родной, шкурье везем.

– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь.

Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под

---

<sup>2</sup> То есть не тремя, а двумя пальцами, как старовер.

медвежьей шубой на верхней лавке.

– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкурьем безопасно.

– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

– Это почему?

– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.

– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где такая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.

– Это верно, – поддержал рыженький человечек. – Всяко-

го спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рычачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.

– Да-с, ее и имел.

– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

– Что вы, шутите или смеетесь?

– Боже меня сохрани таким делом шутить!

– Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

– Это, милостивый государь, целая большая история.

– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

– Извольте-с.

– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к

тому же повесть, которую я пред вами поведаю, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

– Ну как хотите, только скорее сказывайте: как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

– Извольте-с, я начинаю.

## 2

Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, ремеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним, точно иудеи в своих странствиях пустынных с Мои-

сеем, даже скинию <sup>3</sup> свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благо-словление». Лука Кирилов страстно любил иконописную свя-тыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё са-мые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо на-стоящего греческого, либо первых новгородских или строга-новских изографов <sup>4</sup>. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не ви-дел!

И что были за во имя разные и Деисусы <sup>5</sup>, и Нерукотво-ренный Спас с омоченными власы, и преподобные, и муче-ники, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с дея-ниями, каковые, например: Индикт <sup>6</sup>, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество <sup>7</sup>, Шестоднев, Целебник <sup>8</sup>,

---

<sup>3</sup> *Скиния* (греч.) – переносная церковь.

<sup>4</sup> *Изограф* – иконописец. Новгородская иконописная школа (XIV–XV века) и продолжавшая ее традиции строгановская характеризовались мелким письмом по золоту.

<sup>5</sup> *Деисус* (*Деисис*) – трехличная икона – Богоматери, Спасителя и Иоанна Предтечи.

<sup>6</sup> *Индикт* – церковное исчисление времени, при котором мерой отсчета был пятнадцатилетний период. Началом отсчета было 1 сентября. Здесь: посвященная этому дню многоличная икона.

<sup>7</sup> *Святцы* – здесь: двенадцать икон с изображением святых, чтимых в каждом месяце. *Собор* – икона с изображением архангелов Михаила или Гавриила, держащих икону Младенца Христа. *Отечество* – икона с изображением Бога Саваофа с Младенцем Христом на руках в окружении архангелов.

Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского <sup>9</sup>, и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно потеряна. Любили мы все эту свою святыню страстную любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред Ней все деревья кипарисы и олинфы <sup>10</sup> до земли преклоняются, а другая Ангел-Хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред Ее чистотою бездушные деревья преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неопишное. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлбожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами <sup>11</sup>, в знак повсеместного

---

<sup>8</sup> *Шестоднев* – икона с шестью сюжетными изображениями, к каждому дню недели. *Целебники* – иконы с изображением святых, избавлявших от болезней.

<sup>9</sup> Сюжет иконы, на которой изображены три святых в гостях у Авраама.

<sup>10</sup> *Олинфы* – оливковые деревья.

<sup>11</sup> *Тороци* (тороки) – ток Божественного или ангельского слуха, изображаемый на иконах в виде струи или лучей.

отвсюду слышания; одеянье горит, рясны <sup>12</sup>золотыми преиспещрено; доспех пернат <sup>13</sup>, рамена <sup>14</sup>препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепаляющий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреватые и русые, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усика. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стихаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила <sup>15</sup> художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычицу всегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди <sup>16</sup> и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу <sup>17</sup>, а сверху пришит толстый зеленый

---

<sup>12</sup> *Рясно* – ожерелье или подвески.

<sup>13</sup> *Пернат* (пернач) – булава с перистым набалдашником.

<sup>14</sup> *Рамена* – плечи.

<sup>15</sup> *Веселиил* – главный мастер, которому было поручено изготовление Скинии собрания, построенной евреями в пустыне после их исхода из Египта.

<sup>16</sup> *Пестрядь* – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из пестрых ниток.

<sup>17</sup> *Штоф* – здесь: плотная шелковая ткань с разводами.

шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвести. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с Богородичною иконою, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнью своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого одного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дэбрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занята ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

– Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! –

воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

– Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

### 3

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пейзаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и деревья таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших

икон, а выше два тябла <sup>18</sup> для меньшеньких, и так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии <sup>19</sup> положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас гляючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал <sup>20</sup>; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще

---

<sup>18</sup> *Тябло* – киот, полочка, ярус иконостаса.

<sup>19</sup> *Аналогий* (аналой) – высокий церковный столик для чтения стоя.

<sup>20</sup> *Начал* – молитва раскольников.

многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-Господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам <sup>21</sup>, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога <sup>22</sup>, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда

---

<sup>21</sup> Старинный способ обозначения нот, без линеек.

<sup>22</sup> Амалфеев рог – рог изобилия.

избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев<sup>23</sup> старый, а середь головы на маковке гуменцо<sup>24</sup> простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек шаповатый<sup>25</sup>: любил держать себя очень формисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар<sup>26</sup>. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг

---

<sup>23</sup> Мраволев – фантастическое животное, смешение муравья со львом.

<sup>24</sup> *Гуменцо* (гуменце) – темя, выстригаемое при посвящении церковнослужителей.

<sup>25</sup> *Шаповатый* (шапливый) – нарядный, щегольской.

<sup>26</sup> *Велиар* (библейск.) – темная, мрачная сила.

оцетность<sup>27</sup> терпкого питья, которое надлежало нам испить.

## 4

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекай их надо, а каждый тот болт – по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, – отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колонишкой<sup>28</sup> из тележного колеса с песковым жвиром<sup>29</sup>, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой<sup>30</sup>, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево

---

<sup>27</sup> *Оцет (пол.)* – уксус.

<sup>28</sup> *Колоника* – загустевший на осях телеги деготь.

<sup>29</sup> *Жвир (пол.)* – крупный песок.

<sup>30</sup> *Балда* – здесь: большой молот, кувалда.

умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!»

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорта и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорта он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому

случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чай пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстиляет. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась со-судом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этикие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

«Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этикие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим», – и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

«Я слыхала, – говорит, – что к вам Божие благословение видимо, – говорит, – проявляется».

А тот сейчас и подхватывает:

«Как же, – отвечает, – матушка, проявляется; весьма зри-

мо проявляется».

«Видимо?»

«Видимо, – говорит, – государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал».

Барынька так и всплеснула ручонками.

«Ах, – говорит, – как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, – говорит, – прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?»

«Можно-с, – отвечает Пимен, – отчего же-с; очень можно! Только, – говорит, – в таких случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился».

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

«Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю».

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не рассказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачает ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, – и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свечи да на елей жерт-

вы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун <sup>31</sup>, и ленивый нетяг <sup>32</sup>, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

«Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами вопиять».

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.

## 5

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, день-

---

<sup>31</sup> *Потаскун* – развратник, блудник.

<sup>32</sup> *Нетяг* – дармоед, тунеядец.

ги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

«Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали».

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

«Хорошо, государыня, я повелю».

«Да чтоб они хорошенько, – говорит, – молились, потому мне это очень нужно!»

«Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, – заспокоил ее Пимен, – я их голодом запощу, пока не вымолят», – взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

«Я, – говорит, – как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду».

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помо-

литвим; у нас есть такой Ангел-Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

«Ах, прекрасно, – отвечает, – прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампы, а я приеду посмотреть».

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и наказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен снимали да попрятали в коробки, а из коробей кое-какие заменные заставки <sup>33</sup>, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами <sup>34</sup>так и метет и всё на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

«У нас, – говорим, – такового ангела нет».

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему: вид

---

<sup>33</sup> *Заставки* – здесь: подставные иконы.

<sup>34</sup> *Омет* – здесь: кайма платья.

у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая <sup>35</sup>, тоненькая, как сойга <sup>36</sup>, и бровеносная.

– Вам этакая красота не нравится? – перебила рассказчика медвежья шуба.

– Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? – отвечал он.

– У вас, что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа?

– Кочку! – повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. – Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и попевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не

---

<sup>35</sup> Цыбастая – тонконогая.

<sup>36</sup> Сойга (сайга) – степная коза.

горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

«Чего вы? Она добрая».

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но Бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только Бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспо-

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоща ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная

и этакая зеленоватая.

«Что вы, – говорю, – второродительница, на таком месте усевшись?»

А она отвечает:

«А где же мне, Марочка, притулиться?»

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, – думаю себе, – она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

«А зачем же, – говорю, – вы в чуланчике у себя не ляжете?»

«Нельзя, – говорит, – Марочка, там в большой горнице дед Марой молится».

«Ага! вот, – думаю, – так и есть, что что-нибудь по вере случилось», – а тетка Михайлица и начинает:

«Ты ведь, Марочка, небось, ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи случилось?»

«Нет, мол, второродительница, не знаю».

«Ах, страсти!»

«Расскажите же скорее, второродительница».

«Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?»

«Отчего же, – говорю, – не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?»

«Знаю, родной мой, – отвечает, – что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди –

дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет».

Но я никак не мог чтобы дожидаться и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

«У нас, дитя, сею ночью Ангел-Хранитель сошел».

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

«Говорите, – прошу, – скорее: как это диво сталося и кто были оногo дивозрители?»

А она отвечает:

«Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала».

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

«Уснув, – говорит, – помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет». А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице <sup>37</sup>, вся в дырках, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» – потому что

---

<sup>37</sup> Срачица (церк.) – сорочка.

чувствиями ей далось знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощенье, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронут. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чувствует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, – думает, – что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, – кличет, – Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Иисусово вспомяни», но только что она сама это

имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кровати и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» – кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик <sup>38</sup> на шее ходит, а даже остегны <sup>39</sup> на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, – говорит, – что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

«Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича».

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгла-

---

<sup>38</sup> *Гаплик* – застежка.

<sup>39</sup> *Остегны* – шаровары.

сил:

«Ангел Господень, да пролиются стопы твоя, а може хо-  
щещи!»

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

«Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?»

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

«Того самого, – говорит, – что к барыне ходил, которого Пименом звать».

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

«Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили».

А что такое именно, рассказать не может.

«Слыхал-де, – говорит, – как будто барин их запечатал, а они его запечатлели».

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

«Что же ты, шпилман <sup>40</sup> ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!»

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит <sup>41</sup> будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

«Говори, – говорит, – говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?»

А он говорит:

«Ничего».

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

## 7

С барином, за которого наш Пимен молился, преудительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечтал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взятки не

---

<sup>40</sup> *Шпилман* (нем.) – странствующий музыкант; здесь в ироническом смысле.

<sup>41</sup> *Ботвит* – бодрится, чванится, бахвалится.

беру», а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу!» – они двадцать. Он: «Что же вы, – говорит, – не понимаете, что ли, что *я не могу*, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят: «Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно».

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатывал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самую печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

«А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйста с ревизией».

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

«Давайте же скорее мою печать».

А жиды говорят:

«А давайте зи наши деньги».

Барин: «Что? как?» А те на своем стали.

«Мы зи, – говорят, – деньги под залог оставляли».

Тот опять:

«Как под залог?»

«А как зи, – говорят, – мы под залог».

«Врете, – говорит, – вы, подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали».

А они друг друга поталкивают и смеются.

«Гёршту <sup>42</sup>, – говорят, – слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать?» («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, – говорят, – пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатую пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жида-

---

<sup>42</sup> Слышишь, ты (*идиши*).

ми, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, – говорит, – твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, – говорит, – сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, – говорит, – это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, – говорит, – съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, – говорит, – я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем Сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста,

дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при таком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротиться <sup>43</sup>и клястися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада <sup>44</sup>, и знать того не захотела. «Нет, да мне, – говорит, – хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч – это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, старoverы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч – это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские старoverы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осадила: «Что вы, что вы, – говорит, – мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и

---

<sup>43</sup> *Ротится* – божиться.

<sup>44</sup> *Иродиада* – жена своего дяди, иудейского царя Филиппа, добившаяся смертной казни Иоанна Крестителя, который разоблачил ее преступную связь с братом Филиппа Иродом Антипой.

все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил, нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, – говорит, – шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделявайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкусал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился <sup>45</sup>, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умило-стивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспо-

---

<sup>45</sup> *Кучился* – умолял.

следовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услышал шум многих голосов и, обернувшись, увидел несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнаженными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее наконец больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выпреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою

по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камене живо и несокрушимое.

## 8

Теперь же вы извольте вспомнить, что, когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирюю своей там его застали. Он после и рассказывал, что, как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампы гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа!» А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, – говорят, – его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут ико-

ны как котёлки <sup>46</sup> нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плечами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелась, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да, по счастью их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

«Стой, Христов народушко, не дерзничайте! – А сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прutom иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?»

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

«Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!»

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

«Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораستا икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте».

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

«Прочь! – А шепотом шепнул: – Давай по сту рублей со

---

<sup>46</sup> Котёлки – баранки.

штуки, иначе все выпекую».

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

«Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет».

А барин как завопиет излиха:

«Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить?» – и тут вдруг заметался, и все, что видел из Божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки наворачнули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расхотелся, и звал нас и ворами-то, и мошенниками, и говорит: «Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как!» – да, накопивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как на-

шел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот Божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтител с детства своего и послушлив и благодравен, что твой ретив бел конь среброуздан.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

## 9

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазу-

чи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости соображения не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» – и даже за старое искусство заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствовали! Не кладите, – говорит, – сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой – мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствии сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен

икону в точности, а такого изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд<sup>47</sup> по закою: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. «Его, – бают, – запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», – и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно: «Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит».

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

«Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела». Но владыко сего не послушал и сказал:

«Сему не должно потворствовать».

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архи-

---

<sup>47</sup> *Водный труд* – водянка.

пастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смирением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

«Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере».

А я отвечаю:

«Кому в какой вере быть – это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк<sup>48</sup> велит, братски обличаю».

Он при имени пророка так и задрожал.

«Не говори, – говорит, – мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что „пророки мучат живущих на земле“, и даже в том знамение имею», – и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пегинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

---

<sup>48</sup> Аммос (VIII век до н. э.) – библейский пророк, проповедовавший милосердие к бедным.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдвинул я это слово в устах и молвил:

«Что же, молись, – говорю, – и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоянии чист будешь».

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев-англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что, дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не по-

слушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.